

Моя семья — жизнь и судьба

Моя мама писала эти воспоминания, когда ей было уже за 80. Несмотря на это, она сохранила в памяти многие события из жизни поколения трудной судьбы, родившегося незадолго до Революции. Через жизнь этого поколения прошли революции, войны и другие непростые события XX века. Думается, что этот взгляд очевидца может заинтересовать не только маминых потомков, но и людей, интересующихся событиями недавнего прошлого. Инна Гатовская

Моя семья — жизнь и судьба Часть I Моя семья Про дедушек и бабушек знаю очень мало (почти ничего). По фотографии «знакомая» с бабушкой Сорой (дородная, красивая, статная дама, сидит и вяжет чулок). Говорили, что она была совершенно слепая, и было ей в тот период за 80 лет. Судя по тому, что ее именем названа наша старшая сестра (Соня, мать Мили), она скончалась где-то в конце прошлого века. Помню только бабушку Хане-Фейгу, мать отца, властную, эгоистичную женщину, которая жила вместе с нами, в отдельной комнате. В эту комнату внуки имели право заходить только по особой надобности и с особого разрешения. Она всю жизнь (прости меня, папочка) очень мучила маму и умерла через короткое время после смерти Сони. Мама родилась в 80-х годах (не помню точной даты). В 14 лет она потеряла мать, которая умерла в возрасте 58 лет. Будучи старшей дочерью, мама стала хозяйкой дома: было у нее тогда два брата и одна сестра. Дом и хозяйство легли на ее слабые детские плечи. Жили они тогда в местечке под Могилевом или Бобруйском. Кроме братьев, сестры и отца были еще куры и корова. Последняя причиняла ей самые настоящие муки, так как маме было очень тяжело ее доить своими маленькими детскими пальчиками, а корова, как назло, давала много молока и была с норовом – случалось, брыкнется и выльет молоко. Мама сама вела хозяйство, готовила, стирала, убирала и воспитывала младшую сестричку. Замуж ее выдали лишь в возрасте 24 лет, так как не на кого было оставить дом (по тем временам, это очень поздно). Один из ее братьев, дядя Давид, подростком был отдан на обучение портновскому делу и стал незаурядным портным. Он был взят к какому-то вельможе домашним портным и в этом качестве уехал с ним в Париж, где прожил до 40 лет. В 40 лет вернулся, женился на очень красивой двадцатилетней девушке Ане и обосновался в Петербурге, на Морской улице, в угловом доме, где впоследствии был кинотеатр «Баррикада» (это был самый аристократический район). Он обшивал знать, а в дальнейшем – знаменитых артистов. Дядя Давид с семьей жили в квартире из пяти комнат и огромной кухни. У него был единственный сын – Шура, который работал кем-то на киностудии «Ленфильм». Тетя Анечка с Шурой каждое лето приезжали к нам отдыхать. Дядя приезжал редко, был очень интеллигентный, немногословный, добрый, и нашу мать очень любил и чтит, как родную мать, хоть и был старше на пару лет. Вторым брат, дядя Яша, тоже обосновался в Петербурге. Его знаю понаслышке, никогда не видела, он рано умер. У мамы была также сестра, которая все время жила при матери, даже когда она вышла замуж за младшего брата нашего отца. Она любила читать книжки и рассказывать детям сказки, а мама все время была поглощена хозяйством и, кроме того, вникала во все вопросы производства (в основном, в «административно-хозяйственные» проблемы). Отец вырос тоже в местечке. Его мать, бабушка Хане-Фейга, была выдана замуж в 15 или 16 лет и начала рожать, продолжая играть в куклы. Детей она нарожала 15 человек, но никогда их не любила. Исключение составлял наш отец, но любовь эта была сквозь призму ее эгоизма, так как папа был очень религиозный и 10 заповедей воспринимал, как норму жизни и чтит свою мать без всякой меры, чем она и пользовалась тоже безмерно, и нашу маму буквально мучила. Большинство ее детей уехали в Америку (будто бы, когда умер дедушка, а с бабушкой (то есть, с матерью) не было ни контакта, ни любви). В Америке они, видимо, процветали и регулярно посылали матери посылки, содержимое которых тщательно скрывалось в ее комнате. Помню ее старшего сына: крупный, дородный, немолодой уже человек. Он рано овдовел, его первую жену я не помню. Осталась у него куча детей (в основном, сыновья). Когда он вторично женился, все его дети от первой жены уехали в Америку к своим дядям и тетям. Со второй женой он прижил сына и дочь. Они уже были взрослые, когда дядя оставил их и уехал к детям от первой жены. Деталей не знаю, но материально он их обеспечил хорошо. Когда ему исполнилось 90 лет, он приехал в Израиль лечиться. Профессор назначил ему повторный вызов через 13 дней, но он скончался на 12-й день. Его дочь от второй жены Ася рассказывала, что он ехал в Израиль не столько чтобы лечиться, сколько чтобы быть похороненным на Святой Земле. Знала еще младшего брата Ерухима, который женился на маминной сестре – тете Добе (говорили, что по любви – в ту пору это была большая редкость). Они жили вместе с нашей семьей на двух половинах огромного (по нашим понятиям) дома. Обосновались они в Могилеве (район Луполово), где оба брата открыли кожевенное производство (папа был заправилкой и опекуном, а дядя – на вторых ролях). Когда у матери было, кажется, 7 человек детей, ей в субботу днем, во время отдыха, приснился сон, что Луполово сгорело. Мама собрала все ценные бумаги и драгоценности, одежду для детей, а к вечеру где-то начался пожар. Мама взяла все

приготовленное и детей и ушла с ними в город, за Днепр, к своим родственникам. Папа остался спасать, что можно. Луполово в ту ночь сгорело дотла, но маме удалось спасти самое ценное и, конечно, детей, а папа на общественных началах всю ночь оставался на пожарище. Уж не знаю, сколько времени и где жила наша семья, но потом папа где-то купил большой дом, который был установлен в том же Луполове. Дом двухэтажный: внизу располагалась мастерская, там были установлены огромные чаны, в которых обрабатывались и дубились кожи; в глубине огромного двора была небольшая каменная постройка, так называемая зольня. Туда кожи поступали для дополнительной обработки. Напротив зольни – небольшая, но двухэтажная, постройка, тоже используемая для производства. А еще был там большой барабан, куда закладывались кожи; и слепая лошадь шла по кругу, перемешивая содержимое барабана. Тут же находился большой огород, который сдавался в аренду соседке – Машке Иванс. Как бы пересекая двор, стоял большой сарай, в котором в середине хранились дрова, и было помещение для лошадей, а по краям было два коровника: один – для нашей семьи, и один – для тети Добы. Он заканчивался большим навесом, в глубине которого был расположен курятник, и стояла коляска. Между сараем и домом был огород; уж не знаю, кем он обрабатывался, но хорошо помню овощные грядки. В углу стояло старое грушевое дерево, обгрызенное козой нашего сторожа. Оно использовалось для натягивания веревок для сушки белья, так как было совершенно высохшее. Собственно дом, то есть его второй этаж, и представлял наше жилье. В этом доме родились все младшие дети, в том числе, и я – самая младшая. Дом имел с фасада 12 окон и всего 11 комнат: по 5 комнат с каждой стороны занимали наша семья и семья тети Добы. В средней комнате, к которой прилежала большая кухня с огромной русской печью, проживали сторож с женой и сыном. У тети была отдельная кухня; и с обеих сторон были большие крытые террасы, которые имели подъемные крыши для устройства суккот. Там же была большая кладовая, которая использовалась для зимних запасов – большие глиняные горшки с гусиным жиром и в жиру – жареные полки и грудки – запасы на пасху, бочонок с брусникой, капуста и пр. – то же и у тети. Там же был «парадный ход». Со стороны двора – одна общая терраса с двумя лестницами: одна на нашу часть дома, а вторая – на тетину. Эта терраса использовалась для хозяйственных нужд. Здесь стирали, готовили корм для скота, чистили овощи и т. д. Она тоже с обеих сторон имела большие кладовые, а с тетининой стороны был ход на чердак, на котором зимой сушили белье и хранили в больших ящиках антоновские яблоки, перекрытые соломенными матами. Яблоки в большие морозы замерзали, и мы их ели (ах, и вкуснятина!). Комнаты с фасада располагались анфиладой, и в них часто справляли свадьбы бесприданницы, конечно, бесплатно. Из наших детей свадьбы там справляли Муля и Соня – остальные уже не успели. Революция – это была та бомба, которая в одночасье разорвала галутные цепи у еврейской молодежи, замкнутой в черте оседлости и в бессилии стремившейся вырваться в большой мир. Раньше это удавалось только детям богатых евреев и, как правило, ценою крещения – таких были единицы. В революции многие стали ее творцами, другие – яркими сионистами, а молодежь нашего круга потянулась в большие города за образованием. К их числу и примкнули наши старшие – Соня и Муля, а в их компании – Исер и Аня. Соню и Мулю приютил дядя Давид, выделив им большую комнату в своей квартире на улице Герцена, бывшей Морской. Там и образовалась «штаб-квартира» для их близких друзей. Соня, Исер и Аня поступили в Медицинский. Муля – на пару лет помоложе – потянулся в Политехнический, но, так как все его образование было ограничено хедером, то он обладал самыми элементарными знаниями по арифметике, а по-русски умел разве только расписаться. Да и по молодости не мог сразу попасть в институт. Он засел за самообразование и за два года сумел подготовиться и поступить-таки в Политехнический. Соне и Исеру удалось закончить мединститут, Аня и Муля поженились. Аня прервала учебу в связи с беременностью. Она вернулась в Могилев, жила у нас, родила дочь Лили и, чтобы не терять связь с медициной, работала медсестрой, а Муля продолжал учебу до тех пор, пока на него не обрушились гонения, как на сына нэпмана. Его исключили из института, и в это время у него случился первый приступ болезни. Начиная с третьего курса, он учился экстерном и закончил-таки институт. Рува же к учебе уже допущен не был. Он оторвался от семьи и уехал (не знаю, почему) в Иркутск, для приобретения стажа работы, так как только таким путем мог надеяться на получение образования. Оттуда он писал домой очень оптимистичные письма, хотя голодал и холодал основательно, а маму уверял, что там совсем не холодно, что рука даже не замерзает зимой. Через какое-то время он тоже перекочевал в Ленинград, поступил на работу и вечернюю учебу; в итоге, он закончил вечерний институт без отрыва от работы. В то голодное время все они в Ленинграде прошли все муки ада, но образование все же получили. На лето снималась дача в семье, в которой было три Марии: мама, дочь и, кажется, бабушка. На дачу выезжала тетя Доба со своими и нашими детьми. Мама на дачу никогда не ездила, поглощенная большим хозяйством (своим и тетиним) и никогда не оставлявшая папу. Ей было не до дач. Когда дети выросли, на дачу выезжала Аня с Лили, а затем – Соня с Милей и Исером (там они проводили каникулы и отпуска). Меня, как самую маленькую, тоже туда увозили, но

старших там помню спорадически. Дача была расположена в большом сосновом бору, где на полянах росла земляника, и было много шишек, которые мы собирали для самовара. Он был очень большой, медный. В него мы набрасывали шишки, а сверху ставили огромную трубу. Когда он закипал, старшие ставили его на стол, а вместо трубы уже возвышался чайник с заваркой. Во время НЭПа дом наш жил достаточно обеспеченно: было две коровы, много домашней птицы, две домработницы – одна ухаживала за огородом и скотиной и стирала, а вторая работала по дому. Работы всегда было невпроворот: каждую неделю пекли огромные хлебы, по четвергам – халы, а по пятницам – сдобу и яства, а еще фаршировалась рыба, разделявались куры (их живых резали у резника, а затем общипывали их перья (эту процедуру помню с самого маленького возраста)), делали кугл и пр. – и все это – в огромных количествах. Ведь за стол садились 12–14 человек: родители, 8 человек детей, бабушка, а еще двух человек (а иногда и больше) папа приводил из синагоги на застолье в шаббат. По праздникам – на седер и на Суккот – приглашался также сторож со своим семейством. Огромный длинный стол в парадной столовой никогда не складывался. В будничной столовой стол был поменьше, так как в обычные дни редко ели все вместе: мальчики ходили в хедер, после хедера обедали и уходили в мастерскую работать; девочки помогали по дому (работы хватало всем). По четвергам ходили в баню, а один раз в месяц мама ездила в коляске, запряженной лошадьми, в большую баню, за Днепр (там была миква). Как правило, она брала с собой одну из старших девочек. До меня это не дошло – я еще была мала. Однажды лошади испугались автомобиля, понесли и чуть не опрокинули коляску с мамой в овраг. Это увидел Муля, подбежал, сумел схватить взбесившихся лошадей за уздцы и остановил их. Мама была спасена от верной смерти, но Муля тогда впервые начал заговариваться. Было ему тогда 17 лет! На кухне, тоже у окна, стоял небольшой стол, за который сажали кушать нищих. Этот стол, по моим представлениям, никогда не пустовал. Мои личные воспоминания относятся к пятилетнему возрасту, когда я заболела scarlatina. Приехавшая на каникулы Соня (мать Мили) склонилась над моей кроваткой, заговорила очень ласково, и я ощутила неопишное блаженство, как будто ангел надо мной склонился – описать это невозможно. Второе воспоминание: у меня осложнение: нарыв не то в горле, не то на шее. Меня собираются оперировать на дому: в «зале», в углу – небольшой диван, кресла, круглый стол, на котором стоит таз с блестящими инструментами. Сидят два врача. Папа держит меня на руках, тоже сидя, и вдруг снимает с меня рубашку. Я начинаю истошно кричать, потому что мне стыдно, что меня раздели при чужих дядях (точно помню причину). Мама приоткрывает дверь и тревожно заглядывает в комнату. Саму операцию и все дальнейшее не помню. Третье воспоминание: я лежу в полутемной комнате со спущенными шторами – у меня корь (по дальнейшим рассказам, в очень тяжелой форме). Я чувствую себя ужасно несчастной, тяжело дышу, мне жарко. Следующее: вечер, сумерки, меня уложили в кровать спать. Я лежу и прислушиваюсь к игре на скрипке: у окна играет Рува – мелодию Глюка. С тех пор запомнила и полюбила эту мелодию. Еще воспоминание: я катаюсь на пустой бочке, опираясь на длинную трость, подражая мальчикам. Следующее: Машка Иванс с дочерьми на арендуемом у нас огороде роет картошку. Я в поте лица очень добросовестно собираю картошку и таскаю ее в кучу. Приходит Яша, берет меня за руку и ведет домой. По дороге он мне выговаривает: меня ищут, не могут найти. А вся семья уже собралась ужинать. За длинным столом в малой столовой сидит детвора. Дальше: к Маше пришли подружки. Они играют в прятки. Я тоже хочу. Меня ставят в угол возле колодца и велют крепко закрыть глаза. Я с силой зажмурилась и уверена, что меня никто не видит. Это примерно до семи лет, где-то в 1922-м году, в период, когда Рува уезжает в Иркутск зарабатывать рабочий стаж. Примерно с этого периода воспоминания становятся отчетливыми, осмысленными. Приходят чекисты. Нас, детвору, прячут в сукке, на закрытой веранде. Мы сидим, притаившись, под скамьей. И вдруг Давид (он старше Маши года на два) – подросток с огромным лбом и горящими, как фонари, глазами – хватает большое полено и стремительно бежит к двери, чтобы вступить в схватку с чекистами. Полине, самой из нас старшей, едва удается его удержать. За окном слышен треск разбиваемого стекла – это чекисты разбили огромную бутылку с реактивами. На столе в «малой» столовой лежит каравай хлеба. Дети его облепили и, как мышата, кругом его объели. Мама, увидев эту сцену, берет остаток, делит его среди детей, а часть прячет для папы. Никогда не помню маму за едой, иногда только по большим праздникам или субботам, и то – урывками: надо было обслужить такую ораву. С наступлением НЭПа жизнь становится спокойной. Папа начинает активно проявлять свою предпринимательскую деятельность: он ездит по ярмаркам, закупает сырье. Возвращается всегда с подарками для семьи. В мастерской появляются наемные рабочие. Все чаще в мастерской можно видеть деловых, представительных людей. Возобновляются приезды на лето тети Анечки и Шуры. Бабушка стала регулярно получать свои посылки от детей. Теперь я уже жизнь узнаю не по рассказам, а зримо, сознательно. Бабушка печет булочки из американской муки (в стране ведь еще разруха) и прячет их в свою комнату. Однажды тетя Аня вынула одну булочку из печи и отдала ее малышке из семьи тети Добы – разыгрался грандиозный скандал. Папа заступился за свою мать и строго запретил впредь

всякие поползновения на ее покой. Проявлению ее эгоизма можно было посвятить целый роман, но всю глубину маминых переживаний я поняла только на старости. Периодически приезжают старшие (Соня, Муля, Рува), но все остальные еще в семье. В доме большое горе: примерно в 15 лет заболевает аппендицитом Давид, его оперируют, а после выписки из больницы у него развивается перитонит, его вновь увозят в больницу, но спасти уже не могут. Мальчик был необыкновенный, мать ужасно страдает, ее утешают, говорят, что богу нужны лучшие, и эта мысль во всей моей жизни проходит красной чертой. Папа выезжает на ярмарку, кажется, в Кременчуг, закупает большую партию кожи, вложив в нее все свое состояние, но кожи прибывают очень низкого качества. Дома паника – грозит банкротство: сырье не поддается переработке. В это время на каникулы приезжает Муля (студент третьего курса Политехнического института), уходит с головой в работу и придумывает технологию, которая требует не только трудов, но и частичного технического переоснащения. Папа, под нажимом мамы, полностью ему доверяется. Муля создает из бракованных шкурок прекрасный сорт кожи – шевро, используемый для дамской модельной обуви. В результате – вместо банкротства – процветание. Лирическое отступление: ранним летним утром Муля на раме велосипеда везет меня на дачу к Ане с крошкой Лили. Я в восторге – прекрасная погода, проселочная дорога: луга, обсыпанные изобилием цветов; поля, «нафаршированные» васильками попеременно с колосьями; пролески, кустарники и, наконец, густой сосновый бор – это мы приехали на дачу! Муля оставляет меня на даче, сам через пару дней уезжает в город – помогать отцу. Я остаюсь в этом раю. Аня с Полиной идут гуляючи по лесу, разговаривают. Я, как козочка, резвлюсь и вбегаю с ходу в муравейник, меня облепляют муравьи. Аня поучает: надо бегать кругом. Я начинаю, облепленная муравьями, бегать вокруг муравейника. Дамы стоят и хохочут, а меня в это время заедает рой муравьев. Они молоды, им смешно, а мне обидно. Дома кто-то из взрослых со мной играет, Я, резвясь, прячусь за зеркало, оно падает и разбивается на мелкие кусочки. Меня «изгоняют из рая». В детстве я много и тяжело болела. Через короткое время после операции на шее – новое осложнение, после скарлатины – нефрозо-нефрит, воспаление почек. Болезнь помню смутно, помню только, что мне не давали селедку, которую очень любила. Следующее мое заболевание почками уже помню отчетливо: меня держат на строгой, молочно-растительной, бессолевой диете – опять лишают меня селедки, долго и тяжело болею. Опять большое горе – приезжает дядя Давид из Ленинграда. Мама в страшной тревоге – дядя просто так не приедет. Что случилось? Что-то с Соней? Да, Соня очень больна. Мама в истерике – Соня умерла! Маму уводят в другую комнату. Я залезаю на стол, хватаю огромную голову селедки и с остервенением грызу ее, думая при этом: зачем мне жить, если умерла Соня – с помощью селедки я собралась умереть. Мама долго, очень долго не может прийти в себя: ушла из жизни яркая звездочка на нашем семейном небосклоне, уже вторая (первая – Давид). Осталась Миля, ей еще нет двух лет. Соня была беременна. К моему имени добавляют имя Хая – жизнь. Так принято в еврейских семьях, когда ребенок много болеет. Наконец, после выздоровления, меня определяют в школу. До этого Полина пыталась учить меня дома. Ей я обязана тем, что пишу правой рукой, так как я все пыталась брать ручку в левую руку, а она упорно заставляла менять руку. Через короткое время вновь, уже в третий раз, заболеваю почками. Болею около полугода, но дома «делаю уроки» и успешно продолжаю учебу. В 13 лет я «взрослею», и на этом кончаются проблемы с почками. Эпизод: вечер, детвора сидит за столом в праздничной столовой. Все «деловито» кушают. Одна Маша плачет, бракуя все яства. Мама ей подсовывает то одно, то другое – напрасно. Мама говорит: доченька! (кинд майне) чего же ты хочешь? Ответ сквозь плач: хочу, чего нет (их вил вос из нито). Наступают черные времена – конец НЭПа. Рува (наш папа № 2) забирает в Ленинград, в свою четырнадцатиметровую комнату на улице Скороходова, Полину и Яшу, а затем и Машу. Я остаюсь с родителями. Дом у нас отбирают и устраивают ткацкую фабрику. Нам оставляют «будничную» столовую и кухню. Папа в тюрьме, мама от расстройства очень слаба. Я беру на себя дом – все, кроме готовки. Коровы, двор, огороды – все конфисковано. Мама все время беззвучно плачет, я изо всех сил стараюсь ее утешить. За стеной постоянный грохот ткацких станков. Папа по выходе из тюрьмы становится сапожником. Это его не удовлетворяет. Тогда он организывает колхоз из таких же, как он, бедолаг. В колхозе неплохо налаживают работу. Папа – председатель. Меня Рува забирает к себе (6 человек в 14-метровой комнате). Меня устраивают в «фабзавуч» для обучения специальности и, главное, приобретения стажа работы, который даст мне в дальнейшем право поступить учиться. При этом у меня 6 классов образования. Живем очень весело, хоть и впроголодь, да и спим, где придется, даже на столе. Запомнились, однако, приступы безудержного хохота – меня закрывали в шкаф, чтобы унять хохот (хохотунья была отчаянная – пальчик покажи). Папу, и ему подобных, изгоняют из колхоза; он приезжает в Ленинград искать квартиру. Колхоз, естественно, распадается, хотя там уже неплохо была налажена работа, и колхоз с первого года стал прибыльным. Полина выходит замуж за Исера, у нас становится посвободней. Рува тоже хочет жениться, но нас девать некуда. Папа в Пушкине находит пустующую террасу, большую, полуразрушенную, при 2-этажном доме. Он начинает строить квартиру. Средства –

Торгсин (магазин, обменивающий драгоценности). Туда носят серебро, золото – все, что удалось скрыть, припрятать. Я кончаю профучилище, работаю на телефонном заводе сборщицей коммутаторов, на общественных началах – книгоношей. Библиотечный коллектор забирает меня к себе на работу. Тем временем папа построил двухкомнатную квартиру с кухней (по тем временам – дворец). Он забирает туда маму, меня и Яшу. Маша переходит жить к Муле, в квартиру дяди Давида. Рува женится (в 31-32 года). Мы с Яшей ездим из Пушкина в Ленинград на работу – он на «Скороход», я в библиотечный коллектор. В Кронштадте Полина заболевает острым ревматизмом, а на руках у них – грудная Сонечка. Меня вызывают для ухода за Полиной и крошкой (не Машу). Оформляю отпуск без содержания и еду в Кронштадт. Прожила там около полугода, ибо ревматизм в тяжелой форме – болезнь нелегкая и длительная. Полина почти все время лежит, а меня вдруг вызывают домой – у мамы паралич – инсульт, ухаживать некому. Мчусь домой в сопровождении траурных гудков – день смерти Кирова. Мама лежит неподвижная – у нее парализованы правая рука и правая нога – кровоизлияние в левое полушарие головного мозга. Она в полном сознании, но речь парализована, в глазах – мука, слезы. Я в свои неполные 19 лет превращаюсь в няньку, сиделку и хозяйку дома. Папа изо всех сил старается мне помочь; Яша, приезжая с работы, заставляет меня пойти погулять, ходит в Торгсин менять последнее серебро на печенье, которое мы с папой размачиваем в молоке и кормим маму с ложечки. Мамины «пеленки» папа стирает сам. Он считает, что я этим заниматься не должна. И вдруг приходят два милиционера (или чекиста) и составляют акт: папе, как нэпману, выехать за 100-й километр от Ленинграда в течение 24 часов! Маму на правах больной оставляют, у нее уже слезы не стоят в глазах, а беззвучно текут ручейками – ее страдание описать невозможно! Теперь я часто думаю: чем она перед богом провинилась, что он не только не лишил ее сознания, но наоборот сделал его еще более обостренным! Ну, а я уже полная хозяйка: теперь я не только дом веду, но и пеленки стираю. Маша иногда, очень редко, приезжает «навестить маму» и без конца рассказывает про своих поклонников – ведь ей 21 год! Я до сих пор помню эти рассказы. На мать никакого внимания, о помощи и говорить нечего, а ведь мне 19! В 36-м году, уже после смерти матери, выходит конституция – дети за родителей не отвечают. Этот пункт открывает двери учебных заведений перед детьми нэпманов. Рува «наступает» – ты должна учиться! Я реву: куда податься с неполным 7-летним образованием в 21 год! Условия приема ужесточаются. В институт принимают только при наличии 10-летнего образования. Рува неумолим. Он обивает пороги рабфаков – учебных заведений, где при вечерней учебе можно закончить школу и получить аттестат. Он добивается, чтобы меня приняли в 10-й класс! Ему удается уговорить директора, чтобы меня приняли как слушателя, с тем чтобы к концу семестра, если я «покажу себя», меня зачислили. Он берет меня к себе в Ленинград из Пушкина, и начинается интенсивная подготовка – в основном, математика, физика, химия. Гуманитарные предметы почти не требуют подготовки – практически только просмотр программы: ведь я много читала и литературу знаю, неплохо знала классиков, хорошо писала сочинения. Историю ВКП(б) нахваталась по разным кружкам. Физику в нужном объеме я усвоила довольно легко. Рува все внимание сосредоточил на математике, так как я знала только арифметику и азы алгебры. Вечерами он мне «вбивает в голову» алгебру, геометрию. Дни и ночи штудирую по учебникам все, что требуется по программе, а вечерами он в меня «вдалбливает» азы математики, проверяя знания, которые мне удастся приобрести в его отсутствие. Я работаю, как зверь, сплю по несколько часов, днем засыпаю на 10-15 минут и опять за работу. К концу лета в помощь Руве включается Арон – он меня «натаскивает» по химии. Осенью начинаю посещать рабфак и, как ни странно,вливаюсь в класс на равных. Меня зачисляют, и я успешно занимаюсь. Но тут маленькая Сонечка заболевает скарлатиной, и Исер меня уговаривает лечь с ней в больницу, так как я скарлатиной уже переболела. Что делать? Я бросаю учебу и иду на 6 недель в больницу. Рува узнает об этом постфактум. Он рвет и мечет. Арон посещает меня и в больничном саду продолжает натаскивать. Сам он в это время тоже учится на рабфаке, но на другом. Он дает мне задания, и я продолжаю самостоятельную подготовку. Затем я возвращаюсь на рабфак, продолжаю успевать довольно успешно, но тут обнаруживается, что я не знаю тригонометрии – на нее не хватило ни сил, ни времени. Математик – старенький добрый учитель, обнаружив этот пробел, недоумевает: все разделы математики я знаю хорошо, а о тригонометрии – ничего! Он выслушивает мою «исповедь», смотрит на мою заплаканную физиономию и находит выход: он выставит мне проходной балл, но я должна идти в такой ВУЗ, в котором на приемных экзаменах нет математики, и я обещаю ему, что буду поступать в медицинский. Но тут обнаруживается еще один пробел – химия. Теоретические знания хорошие, но не умею решать задачи. Химик (еврей, Шаргородский) наотрез отказывается поставить проходной балл. Следует моя «исповедь», но эффект – обратный: нельзя всю химию освоить за один учебный год, а потому он выставляет «красноречивую» двойку. Я требую переекзаменовки через неделю. Он стоит на своем. Я настаиваю. Он бросает мне задачник по химии и говорит: «решите все задачи – я вас аттестую». Был конец недели. Срок – понедельник. Мы его просто

перехитрили: Арон забрал задачник и решил все задачи. Я даже не потрудились их переписать. В понедельник принесла ему тетрадь с решенными задачами, даже не переписав их – времени на это не было, и с Ароном мы решили, что он в почерке разбираться не будет. Так и было: он перелистал тетрадь, обозвал меня «сумасшедшей» и выставил вожделенную тройку. Осенью 37-го года я стала студенткой Медицинского института. Все вступительные экзамены сдала на «четыре» и «пять» (по физике и химии). В 1938-м году мы с Ароном поженились, а в 39-м родилась Инночка. В институте пришлось взять академический отпуск, так как дочка упорно не брала рожок. Война застала меня студенткой третьего курса, а Арон в это время заканчивал университет. Выпускные экзамены он сдал на отлично с правом поступления в аспирантуру при кафедре новой истории. Но, сдав экзамены, он записался в ряды народного ополчения. Их отправили под Ораниенбаум, откуда какое-то время мы получали письма. Кажется, они там не очень-то занимались подготовкой к военным действиям – ведь немцев собирались «закидать шапками». Он был редактором стенгазеты в полевых условиях, занимались самодеятельностью и пр. На какое-то время он потерял нас и писал очень тревожные письма на адрес Фани. А затем связь оборвалась. После войны я разыскала его товарища, который рассказал, что их немцы разогнали, как кроликов. Он сам подался подальше от Ленинграда и благодаря этому остался в живых. Арон же «побежал» в сторону Ленинграда, где надеялся получить сведения о своей семейке, так как он даже не знал о том, что мы эвакуировались – моих писем, которые я писала ежедневно, он не получал. Мне еще оставалось сдать экзамены за третий курс. Инночку – двухлетнюю кроху – пришлось отправить с детским домом, в который Полина устроилась на работу, и они, то есть, Полина с Соней, Додиком, Инночкой и Милей поехали на восток. Я собиралась сдать экзамены и уже в качестве студентки четвертого курса поехать вслед. Дальнейшее доказало, что это решение было единственно правильным, ибо как студентка уже 4-го курса, я получила звание «зауряд врача». Это дало возможность в эвакуации работать в должности врача. После войны для «зауряд врачей» была специально организована группа студентов при 1-м Медицинском институте, и в 1947 году мне удалось закончить институт. Однако жизнь распорядилась по-другому: институт превратили в госпиталь, всех студентов и преподавательский состав мобилизовали. Декан стал начальником госпиталя. Сразу начал поступать поток раненых, исковерканных, изуродованных людей, забыть которых невозможно. Мы работали по 12 часов в сутки: головы, животы, руки, ноги, кровь, кровь, кровь. Экзамены мы все же сдали, я получила документ, что являюсь студенткой 4-го курса, но об отъезде не может быть и речи. Детдом с моим сокровищем находится в Тихвине. По радио сообщают (голос знаменитого диктора Левитана), что враг на подступах к Тихвину. В ужасе бегу к декану с просьбой отпустить меня для поездки к дочери. Он мне разрешает не только поехать, но и не возвращаться в госпиталь, а найти ребенка и эвакуироваться на восток. Бегаю по перрону, зареванная, затравленная, выпросила разрешение у сопровождающих воинский эшелон (пассажирские поезда уже не шли) ехать на площадке между танками. Военнослужащие очень сочувствовали – с этим гражданское население сталкивалось часто. Уже поздно вечером добираюсь до места, где был расположен Детдом, километров 10 – пешком, бегом со взвинченными до предела нервами, и узнаю, что Детдом уехал на восток, но одна грузовая машина и несколько матерей с детьми вернулись в Ленинград, в том числе, кажется, Полина с детьми! До зари промаялась и пустилась в обратную дорогу. Дома у Полины нахожу свое сокровище. Арон в это время еще в Ленинграде, его часть размещена в Университете, там – цвет ленинградской интеллигенции – добровольцы. Занимаются чем угодно – воспитанием духа защитников Отечества – только не воинской подготовкой. Арон в течение месяца, кажется, и винтовкой владеть не учился. 7 августа их собираются куда-то отправлять. Это было в день, когда я вернулась из Тихвина. Едва придя в себя (помылась, переоделась, покушала), помчалась прощаться с Ароном. Застала их уже готовящимися в дорогу. В институт я больше не ходила – мы лихорадочно готовимся эвакуироваться. Железный каблук стремительно приближается к Ленинграду. Ночью на дворе падает сбитый самолет и горит у самого дома. Мы хватаем детей и мчимся в убежище, где проводим добрую половину ночи. На следующий день приезжает Исер на грузовике с двумя матросами, сбрасывает весь скарб в машину и увозит нас в Ленинград, на Московский вокзал. Нас втиснули в вагон. А наши вещи затолкали через окно. На своей квартире мне побывать так и не удалось. При мне во время эвакуации были только доченька и матриккул, подтверждающий, что я студентка 4-го курса 1-го Мединститута. Поезд до Казани, ночевка в сарае. У нас два двухлетних ребенка и очень больная мать Исера и Арона, а всего нас – 8 человек. Здесь столкнулись с первыми признаками антисемитизма. Едем на пароме, подводе, приезжаем в Цивильск. Занимаем большую комнату без потолка в новом недостроенном доме. Меня сразу берут на работу в поликлинику на должность хирурга и врачом скорой помощи (в матриккуле одни пятерки, что и отметила сразу главврач – хорошая головка, справитесь). Я в свои 26 лет выглядела 18-летней. Волей обстоятельств – хозяйка. Зима в жутких условиях, отопление – буржуйка – маленькая железная печурка с огромной трубой, выходящей через крышу. На ней и пищу готовили. Инночка спала вместе со мной в меховой шубке, не раздеваясь. Она отморозила пальчики. В

какой-то степени выручал аттестат Исера. Полина тряпки выменивала на продукты. Хозяин – пьяница, дебошир – скандалы, страхи. Я приобрела брошюру по выращиванию картофеля – нам к весне, через поликлинику, обещан участок. Всю зиму, покупая картошку ведрами, отрезаю «глазки» для посадки и собираю до весны одно ведро этих ростков и одновременно золу. Весной получаю участок недалеко от поликлиники, на бывшей свалке. Вместе с другими участками и наш прокопан трактором. Засаваю «глазки», добавляя ручную золу. Все лето, вплоть до снятия урожая, ежедневно на заре (кажется, сна и не было) пропалываю, окучиваю. С участка сразу иду на работу, где моюсь, переодеваюсь и начинаю прием. Из дома мне приносят завтрак. Урожай сняли баснословный и сразу купили поросенка. В течение зимы выхаживала женщину – врача, которая из благодарности передает мне квартиру, состоящую из комнаты и кухни – эту женщину муж забирает в Куйбышев. В день ее отъезда мы перетасили к ней вещи, в основном, через окно, и этим поставили городское управление перед фактом. Как врач, наладила связь с молочным комбинатом и получала кувшинами пахту, а на мясокомбинате – субпродукты. Полина устраивается работать на инкубатор и приносит отбракованные яйца и пшеничную кашу – живем «припеваючи» – не хватает только хлеба. А затем – счастье привалило – устроилась по совместительству на предприятие оборонного значения, причем я там – единственный врач. Следующий этап – моя тяжелая болезнь – сыпной тиф, поражение слуха. А потом – возвращение в холодный Ленинград. День Победы – у большинства – радость без меры, а у меня – траур. Инночка в садике, я поступаю в институт в группу для заурядврачей, которую открывают специально при 1-м Медицинском институте. Весной 47-го заканчиваю институт, получаю вожделенный диплом и вместо лечебного врача в сельской местности беру должность эпидемиолога в Лиепе с единственной целью – иметь возможность дать образование Инночке. Мы с Ароном мечтали о музыкальном образовании дочери, и я ему обещала сделать все возможное. Заключение: В Лиепе с первого до последнего дня у нас был открытый дом. Нас постоянно посещали мои родные и Гесины друзья, как местные, так и иногородние. Были бесконечные приемы его сослуживцев. Летом у нас регулярно проводили отпуска мои родственники: Аня с Мулей, Рува, Миля, Яша с Маргаритой, Додик, Таня (Яшина), а также Гесина родственница Роза с мужем Шраго и ребенком – все по одному разу. Исер выбрал Лиепу как собственный санаторий – редкое лето пропускал – море, отдельная комната, хороший уход – что еще человеку надо? Полина была с ним один раз – не подошел климат. Кажется, она этим была не очень довольна, но отказать ему я не могла. Маша была один раз до замужества, второй раз провела медовый месяц, потом снова вместе с Генрихом, четвертый раз – при жизни Генриха, но одна, и еще два раза – уже после смерти Генриха – каждый раз по месяцу. Если бы она была плохо принята, не приезжала бы. Возвращаюсь в прошлое: еще во времена НЭПа папа приводит к нам в дом «цадика» – очень старенького, мудрого и, вероятно, обладающего даром предвидения, который предсказывает, что будет большая, кровопролитная война с большими жертвами, особенно среди еврейства. Далее он сказал папе, что все его три сына будут в этой войне участвовать, но ни один из них не погибнет. Так оно и случилось. О судьбе самого папы он ничего не сказал. В начале войны папа, вырванный из нашей жизни волею КГБ, очутился в Могилеве. Там он был убит немцами. Еще эпизод из прошлого: канун Симхат Тора. Вся семья сидит в сукке. Над головой крыша из еловых ветвей, между которыми светятся звезды. Папа сидит во главе стола, важный, представительный, с аккуратно причесанной, ухоженной бородой, и самозабвенно молится. Сбоку сидит мама с накинутым на плечи теплым платком. Я – самая маленькая – сижу рядом, прижимаясь к маминому боку. Мама прикрывает меня краем платка. Стол уставлен праздничными блюдами. Атмосфера торжественно-веселая. Вдруг мама что-то тихо говорит папе. Он быстро кончает молитву, подходит к ней и бережно уводит в квартиру. Все с шумом встают. Трапеза закончена. А меня преследует мысль, что именно в эту ночь я родилась. Ведь мой день рождения – в Симхат Тора, а на что способен полет фантазии ребенка – говорить не приходится. Послесловие В заключение хочу сказать пару слов в память о нашем старшем брате Муле – патриархе нашего клана наследников наших родителей. В войну он работал на эвакуированном из Ленинграда заводе оборонного значения. Выехали они из блокадного Ленинграда по Дороге жизни, основательно наголодавшись и нахолодавшись в осажденном Ленинграде. По окончании войны они вернулись в Ленинград, и здесь он проработал уже на своем родном заводе до выхода на пенсию. Он написал очень ценную работу – изобретение, которое сразу, без практического апробирования, было продано Германии за «круглую сумму». По моде тех лет его принудили включить так называемых соавторов. В результате его оттеснили на задворки и лишили авторства. На этой почве он заболел (это был его последний приступ). Поэтому ему пришлось выйти на пенсию день в день, и тогда он надел большой фартук и стал «хозяйкой» дома. Аня продолжала работать, а он полностью взял на себя все домашние хлопоты. Лет через 10-15, после получения квартиры на Бела Куна, Аня тоже бросила работу. Это было на 8-м десятке. В этот период Муля стал уже домоседом и, кроме магазинов, практически никуда не выходил. Однако дома продолжал помогать по хозяйству. Лет до 83 он еще полностью себя обслуживал, и

только в последние 3-4 года ему многое стало не под силу. Когда мы уезжали в Израиль, ему была нужна помощь практически только в ванне, но не в туалете. Но в это время он уже больше лежал, мало и с трудом двигался. Скончался он через пару лет после нашего отъезда в Израиль в возрасте 86 лет. Прощаясь с нами, он был очень меток в высказываниях, пожеланиях, разговорах и даже угощал нас чаем, правда, быстро ушел в свою комнату, сославшись на головную боль. По характеру он был очень добрый. К младшим нашим отпрыскам проявлял много внимания, чуткости, особенно в бытность свою «хозяйкой» на улице Герцена. Много лет, кажется, до самой войны, у них жила Маша. У них я остановилась, когда приехала рожать Осика в Ленинград (я боялась рожать в Лиенае, так как там был в это время стафилококк). Он очень трогательно за мной ухаживал, и он же провожал меня в роддом на Васильевском острове и приносил мне передачи (диетические яйца). У них же на дому был сделан «брит». Геся тоже останавливался у них, когда учился в Ленинграде на месячных курсах. В заключение скажу, что он очень был похож на дядю Давида и по внешности, и по характеру. Мир праху твоему, любимый, родной брат Муля. Еще одно отступление: как много человечество потеряло, отказавшись от многодетных семей! Один ребенок – одинокий эгоист. Два ребенка – это, как правило, два одиноких эгоиста. Только семья, в которой минимум пять детей, — это здоровая семейная ячейка, где старшие считают своей обязанностью опекать младших, а младшие боготворят старших. Только большая семья может представлять собой основу для здорового общества. И еще: Рува всю жизнь, сколько себя помню, старался ввести меня в мир музыки. Он, на правах старшего, считал своей обязанностью развивать мои музыкальные способности и делал это в меру своих возможностей, хотя возможности, в силу обстоятельств, были мизерные. Так, когда я приехала в Ленинград, он достал для меня учителя для обучения игре на скрипке. Я с жаром ухватилась за эту затею, однако учитель после энного количества уроков сказал, что способности у меня, действительно, незаурядные. Но обучение смысла не имеет, так как в этом возрасте разработать руку уже нет возможности. Тогда Рува начал вводить меня в мир музыки другим путем: начал брать меня на концерты в филармонию и, особенно, в оперу. Когда мне было 15-16 лет, он водил меня на «Корневильские колокола», «Снегурочку», «Щелкунчик». До сих пор продолжаю напевать арии из этих произведений. Когда повзрослела, стала покупать абонемент в филармонию, сначала одна, потом с Ароном. А посещения оперного театра на всю жизнь остались для меня праздником. А вот оперетта оставалась на задворках, не случайно поэтому Кальмана я для себя открыла уже в зрелые годы. Младший из братьев – Яша с умилением сравнивал меня с Наташей Ростовской в ее детские годы. Муля же, когда я к ним приходила, старался мне подsunуть что-нибудь повкусней и смотрел на меня с обожанием. В последние годы, когда я садилась возле него на диване уже на Бела Куна, брал в руки мою руку и ласково поглаживал... Ну, а Полине я обязана тем, что научилась писать правой рукой – я ведь всегда норовила взять ручку в левую руку, а она терпеливо заставляла переложить ее в правую. Соню помню только склонившей надо мной свой ангельский лик, когда я в возрасте 4-5 лет лежала больная скарлатиной (она тогда уже жила в Ленинграде), а она приехала на каникулы. Что касается Давида, то он был старше, наверное, года на 4, и я старалась приобщиться к его мальчишеским забавам, так как сама была хорошая сорвиголова. Его огромный лоб и горящие глаза не забуду никогда. Ну, как в такой семье вырасти эгоистом? Еще одно воспоминание: 1938-й год. Я и Арон – студенты 2-го курса, я – медицинского института, Арон – университета. С первого дня студенческой жизни окунулись в студенческие развлечения: театры, концерты, филармония. Одеты нищенски, но это нас не смущает, как и полуголодное существование. Летом мы с Машей едем в гости к папе – в маленькое украинско-еврейское местечко Сосницы. Папа там очутился после того, как его выслали из Ленинграда за 101-й километр. Маленькая хибарка в сосновом бору. Неподалеку очень живописная речушка. Мы отдыхаем от ленинградской суеты, папа не на радуется на нас. Особенно запомнились субботние трапезы по пятницам, когда папа усаживал меня возле себя, и мы пели «змирес» – субботние песни, а в окна заглядывали местечковые евреи. Папа горд: его Хаеле-Малеле (это я) поет с ним «змирес». С Ароном ежедневная переписка. И вдруг: «соскучился, приезжаю». Приехал, мать прислала с ним «тейглах». Он привозит их как родительское благословение. Маша уезжает раньше времени. Я недоумеваю – почему? Папа нас благословляет монеткой – 20 копеек – так положено, когда нет колец. После нашей свадьбы Яша уходит к Маре. Он с ней встречался уже давно, но меня оставил только, когда я вышла замуж. Мы с Ароном живем в Пушкине, на окраине, в квартире, построенной папой. Уже во время беременности Арон затевает ремонт, а я нахожусь у Полины – она в это время тоже живет в Пушкине. После рождения Инночки вызываем к нам родителей Исера и Арона, и все вместе живем до начала войны. После 2-го курса я беру на год академический отпуск, так как Инна ни за что не хотела брать из соски сцеженное молоко. Было ей 2 месяца, а когда ей исполнился год, она заболела тяжелой формой диспепсии. Детский врач – кандидат наук – из нашего института – говорит, что я еще молодая, и у меня еще будут дети. Мое состояние ужасно, я настаиваю: она будет жить, назначьте лечение! И она назначает: каждый час – по чайной ложке грудного молока. А в

промежутках – раствор Рингер-Локка. Девочка истощена. Плакать у нее уже нет сил – мяукает, как котенок. Упорно спаиваю ей эту спасительную ложку грудного молока (по счастью, прикладывала ее к груди до года, хотя она давно уже питалась, «как большая»). Не забыть ночь, когда мы с Ароном бегали с ней по рощице возле дома. Он брал ее у меня из рук, пока я ее «кормила». А в это время раздавались трели соловья, который жил тут же над крохотным ручейком (наверное, поэтому я потом так полюбила песню про соловья-соловушку). Постепенно, под наблюдением этого врача, начала вскармливать ее грудью, затем – прикорм, и выходили мы наше сокровище. Папа из Сосницы перебрался в Могилев, куда его пригласила община на должность шойхета, где он по-кошерному резал кур. Затем он женился на вдове шойхета, а потом погиб от немцев. Дорогие мои потомки! Не судите строго эти сумбурные записи. Так мне представляется наша семейная хроника. Не буду утверждать, что все факты освещены правильно. Ведь больше половины того, что мною описано, черпалось из рассказов – могла и перепутать. Ну, а дат я не касалась умышленно – я с ними всегда была не в ладах. Судите о них по эпохе. Дай вам бог жить долго и счастливо на Святой Земле. Часть вторая Моей дочери посвящается (Эти воспоминания были подарены мне на мой 58-ой день рождения. — Инна Гатовская.) Не вечна жизнь оригинала, Пусть копия ее продлит. «Луч света в темном царстве» Ранним утром, под звуки пробуждающейся природы, Полина с Исером (Арон в эту ночь ночевал в нашей квартире, так как сам делал косметический ремонт, готовясь к появлению на свет нашего сокровища, а я жила у Полины) провожали меня в самый счастливый для женщины путь. Дорога проходила вдоль пушкинского парка, и торжественная симфония в душе перекликалась с птичьим перезвоном. В роддоме меня очень скоро окружила группа врачей и медперсонала (у меня обнаружили в моче высокий процент белка, что при родах угрожает эклампсией). Меня готовили к кесареву сечению, что в те времена представляло собой серьезное вмешательство и угрожало жизни ребенка и потерей способности рожать для роженицы. И тут Инночка совершила первый в своей жизни самоотверженный поступок. Неожиданно для всех она напрягла все свои мышечные силы и выскочила, как пробка из бутылки с шампанским. Вся «процедура» заняла 15 минут! Убеждена, что она почувствовала, что именно она должна спасти маму от угрожающей ей опасности. Так появилась на свет моя дочь – длинноногая, большеротая, с огромными глазами, морщинистая, длинноволосая девочка, похожая на умудренную опытом старушку с озабоченным лицом, весом 3200 кг и ростом 52 см. Полина, подчеркивая ее некрасивость, сказала, что в ней все пропорционально. Развивалась она нормально, в 5 месяцев – первые зубы, в 10 месяцев – первые шаги. К этому времени она превратилась в очаровательное дитя, из своих прежних черт сохранив лишь лучистые глаза. Сходство с отцом ни у кого сомнения не вызывало. Единственную трудность представляло ночное бдение и дневное отсыпание. Как бы предчувствуя опасность, я продолжала ее кормить грудью даже после года. К началу учебного года встал вопрос о включении в питание бутылочки со сцеженным молоком, и тут дочка проявила свою мудрость, отказавшись взять рожок, хотя пустышку сосала охотно. Мне пришлось взять академический отпуск, и я не смогла начать учебу на 3-м курсе. Таким способом она заставила маму остаться с ней на целый год! А, может быть, и спасти ее жизнь! Гром грянул на 2-м году ее жизни, когда она заболела диспепсией. Болезнь одолела дочку стремительно и тяжело. Участковый педиатр помочь не могла, и я поехала с ней в свою альма матер, на кафедру педиатрии; и тут мне сказали, что я еще молода, и у меня еще будут дети, – удар ниже пояса! Я сказала, что доченька будет жить и спросила, что для этого нужно сделать. Ответ последовал как приговор! В течение суток пить раствор Рингер-Локка, и каждый час давать одну чайную ложку сцеженного молока! Ребенок превратился в мяукающий скелетик. У нас не было сил плакать. День как-то прошел, и наступила мучительная ночь. Отступление: дом наш находился на краю Пушкина, на конце улицы, которая через маленький мостик переходила в Павловск – это с фасада. Окна с противоположной стороны выходили на пешеходную аллею, за которой начинался известный Павловский парк. Метрах в 50 от наших окон протекал ручей. В нем сначала папа стирал мамины грязные простыни (он считал, что 19-тилетняя девушка не должна этого делать), а потом, когда его выслали за 100-й км от Ленинграда, это делала я. Над этим ручьем построил свое гнездо соловей, залиvistое его пение было слышно через окно (тот самый соловей-соловушка, который на всю жизнь вошел в мое мироощущение). На этом участке парка, под трели соловья, в летнюю жаркую ночь мы с Ароном спасали наше чудо – плод первой любви. Мы поочередно с ней на руках бегали по парку. Арон заставлял меня отдыхать, так как очень боялся, что пропадет молоко, но времени на отдых не было: каждый час надо было сцедить 1 чайную ложку молока, а остаток – сцедить молокоотсосом, чтобы сохранить функцию молочных желез. Под утро она уснула спокойным сном, и это был перелом. Лишь в конце октября ребенок встал на свои ослабевшие ножки, и только тогда я смогла начать учебу на 3-м курсе. Кроме слабенького тельца, были огромные лучистые глазки, был еще носик – созревала копия. Оригиналу предстояло исчезнуть... Мы утром уезжали в институт, а Инночка оставалась на попечении бабушки Блюмы, настоящей еврейской мамы лет 68, не очень здоровой – у нее начинался серьезный недуг – чейнстоковское

дыхание. Она была труженицей, всю жизнь, кроме семьи, она была хозяйкой маленькой лавчонки, которую по ассортименту можно было назвать универмагом. Она сама заправляла всеми делами – была директором, управляющей, хозяйкой – все в единственном лице, конечно, без приказчиков. Лавчонка была частью ветхого домишки на берегу Днепра – ее «царство». Дедушка был маляр. Была она очень интеллигентным по существу своему, хоть и безграмотным, Человеком с большой буквы. Воспитала 3 сыновей и 3 дочерей, вложив в них свою интеллигентность и душевную чистоту. Исер стал фельдшером еще до революции (институт кончал уже после революции), Будучи студентом, играл в драмкружке; хорошо, проникновенно пел. В этой среде познакомился с Соней (моя старшая сестра, мать Мили). Когда он предстал перед моими родителями, папа очень расстроился: его дочь, внучка раввина, хочет выйти замуж за сына бедной лавчонницы. Однако мама встала на защиту – не столько из-за достоинств Исера, как его матери – мама ее очень уважала. Арон кончил университет, Лева – институт (кажется, Политехнический), Аня вышла замуж за главного инженера какого-то крупного завода в Ленинграде, Эня была замужем за работником культуры крупного пошиба, Фаня была замужем за работником Кремля. Такой женщине можно было спокойно доверить свое чадо. И ребенок рос, без книжек, почти без забав и даже без игрушек, предоставленная сама себе, под контролем бабушки – очаровательный цветок, василек среди ржи. Мы же по дороге в институт и обратно строили планы, какое мы ей дадим образование, и на первом месте в наших планах – музыкальное. Началась экзаменационная сессия. Арон кончал университет на кафедре Новой истории, мне предстояло перейти на 4-й курс. И вдруг – внимание, внимание, внимание... Немецкие войска вероломно перешли границу. Это Левитан своим чарующим, полным трагизма, голосом объявил о начале войны. Все перевернулось с ног на голову. Арон ускоренным темпом сдавал государственные экзамены (он был круглый отличник во все годы обучения), он получил право сразу поступать в аспирантуру. Мне тоже предстояло сдать 3 экзамена. С первых дней войны Полина поступила на работу в детский дом, который собирался эвакуироваться. Так и произошло: в считанные дни детский дом эвакуировался, а с ним – Полина со своими 3 детьми и Инночкой. Арон получил повестку из Университета с предложением вступить в ряды народного ополчения. Я ее пыталась скрыть. Безуспешно. Через несколько дней прибыла повестка из военкомата – его приглашали для зачисления в офицерское училище – поздно, он уже зачислен в ополчение: вместо офицерской школы – мясорубка! Экзамены у нас продолжались сбивчиво, вне графика. Студенты сами беспокоились о продолжении экзаменов. Мне уже оставалось сдать только «детские болезни», и в это время институт превратился в госпиталь. И сразу стали поступать раненые. Все студенты мобилизованы, рассеяны по разным воинским частям – не сдавая экзамены, зачислены работниками госпиталя, в том числе, и я. Раненые потянулись сплошной вереницей: легко раненые – пешком, тяжело раненые – на повозках, искалеченные, в окровавленных бинтах, стонущие. Ранения у всех разные, и только мука в глазах у всех одинаковая. Мы сбивались с ног. Ампутированные конечности, сплошное месиво из человеческих органов. Это возвращались из «мясорубки», в основном, ополченцы – люди разных профессий, совершенно не обученные военному делу, бессмысленно отправленные на фронт. Предстояло немцев «шапками закидать», а немцы спокойно делали свое жестокое дело: самолеты, танки против «шапок». Арон в Ораниенбауме, вместе со своей частью. Вместо обучения воинским дисциплинам – политучеба. Арон – редактор стенгазеты. В сформированное в университете воинское подразделение попал весь цвет ленинградской интеллигенции – преподаватели, работники культуры, архитекторы, актеры – всех объединяло лишь полное незнание воинского дела. Возвратились из этой мясорубки лишь единицы. Последний экзамен – детские болезни – я сдавала профессору Маслову в какой-то случайной комнате, без всякой экзаменационной комиссии. Вместо вопроса он предложил мне выписать рецепт и поставил пятерку. И опять Левитан: немецкие войска находятся на подступах к Тихвину. Тихвин бомбят. А там расположен детский дом, куда уехали Полина с детьми и Инночкой. В ужасе (конечно, зареванная – плачущие женщины в ту пору – не редкость, и я не исключение) мчусь к декану (он же – главврач госпиталя и командир воинской части). Он не только разрешает поехать за ребенком, но и освобождает меня от моих воинских обязанностей и рекомендует с ребенком в Ленинград не возвращаться, а уехать на восток. В это время у меня уже на руках матриккул с записью о переводе на 4-й курс (за все три года – одни пятерки). Мчусь на Московский вокзал, не заезжая домой. Лишь к вечеру добираюсь до места, где был детдом. Его нет – детдом уехал на восток. Надо бы радоваться! Да нет: машина, и там, кажется, Полина с детьми, уехала в Ленинград. Промаялась до зари (мне на крыльце постелили матрац) и... в обратный путь. Всю дорогу реву – непонятно, откуда такой неисчерпаемый запас слез! От Московского вокзала до Витебского ревел, стоя на площадке в углу. Офицер, стоявший рядом, тронул меня за плечо: «Гражданка, у вас платье порвано». Я оглянулась. Он увидел страдание – зареванное лицо и муку в глазах. Тогда он встал ко мне спиной, и всю дорогу прикрывал разорвавшееся в пути платье. Прибежала домой где-то около 4 часов утра – дорога обратно прошла быстрее. Только пошла я, конечно, не

домой, а сразу на квартиру к Полине и вижу на руках у бабушки Блюмы мое чадо, смысл и сущность всей моей жизни! Огромные глаза (глазки – вишенки). Лицо покрыто какой-то сыпью (стрептококковое поражение кожи, которое характеризует ослабленный организм) и большие торчащие уши: копия совершенствуется. Оригинал в этот день выезжает из Ленинграда в жестокое «никуда». Хочу ее взять на руки – она отворачивается к бабушке: обижена, ведь мама так вероломно ее бросила. А ведь ребенку всего два года и полтора месяца! Потом порывисто бросается ко мне, и мы обе плачем, плачем... Силы меня покидают (сутки в мучительной погоне за призраком, без еды и питья, с коротким отдыхом на злополучном (или спасительном?) диване, все время на ногах, бегом, стоя на площадках переполненных, еледвигающихся трамваях, (а, может, это мне казалось, что я не двигаюсь) на буферах воинских эшелонов – пассажирский транспорт в этом направлении уже не шел, под бесконечный гул бомбардировщиков и стук буферов. Наверное, именно так «закалялась сталь». И я уснула сидя, с ребенком на руках, прямо на диване. Затем насилу оторвалась, чтобы привести себя в порядок, переодеть рваное платье (кажется, Полина мне дала одежду из своего гардероба), напилась чаю – много, залпом... Еду взяла в дорогу, кушала в поезде. Надо было спешить в Ленинград – ведь Арона отправляют. Крадучись, ускользнула от ребенка и снова в путь. На вокзале купила сигареты для Арона (до этого Арон бросил курить ради меня). Сейчас он был мне благодарен. Приехала к университету, когда они уже покинули временные казармы, которые располагались прямо на территории университета. Ополченцы толпились кучками на набережной. Мы нашли друг друга довольно быстро, и первый вопрос: где доченька? Очень кратко рассказала о событиях. Он спросил, почему я ее не привезла. Я ответила, что не было сил. Последовал короткий ответ: как ты могла? Но как, действительно, можно было показать ему изможденного ребенка? Я решила сохранить в его памяти ту доченьку, с которой он прощался всего какой-нибудь месяц назад, перед отъездом детдома. В этот день навсегда разделилась наша жизнь на «до» и «после». Как кончился этот день, не помню. В электричке меня разбудила соседка, когда подъезжали к Пушкину. Дома опять непробудный сон. И вдруг посреди ночи – страшная суматоха: на нашем дворе упал горящий сбитый самолет (это было на квартире у Полины). Спешно собрали все необходимое, в том числе, подушки для детей, и спустились в бомбоубежище (кажется, в подвале этого дома), где, кое-как устроив детей и бабушку, которая с перепугу еле дышала, провели остаток ночи. К счастью, пожар был ликвидирован, дом не загорелся, говорили, что огнетушители были направлены не только на самолет, но и на стену дома. Бабушку, еле живую, втащили домой, на второй этаж. Дети не плакали, видимо, понимали серьезность положения. Кое-как напоили всех и накормили, при этом мы с Полиной трудились, как говорят, не переводя дыхания. Понимали ли мы весь ужас нашего положения? Не знаю, был только дикий, звериный страх за детей. Инночка, вытаращив свои глазки-вишенки, бессловесно ходила за мной, цепляясь за платье. Мне кажется, что дети все понимали. И вдруг в этой сутолоке появился Исер. Он приехал из Финляндии, с двумя матросами, чтобы организовать нашу эвакуацию. Это был побег из пекла одним из последних эшелонов. Мы спешно собрали чемоданы, тюки, узлы – матрацы. Матросы все это загрузили в машину, а мы сразу превратились в беспомощных женщин, почувствовав защиту сильных мужских рук. Полина с приездом Исера разревелась и никак не могла утихомириться. Наконец мы устроились: бабушка и Полина с Додиком на руках – в кабине, Исер, дедушка, Миля, Соня, Инночка и я разместились в кузове, между тюками. С нами на борту матрос – в роли охранника. Наконец тронулись. Я примостила Инночку к себе на колени, и она наконец-то смогла прижаться к матери и насладиться ее близостью. (Я тоже.) Слезы текли сами собой, от них становилось легче. Это были минуты долгожданного покоя после невероятного напряжения. В машине написала первую открытку Арону с известием о том, что мы покинули Ленинград (одним из последних эшелонов, которые вывозили ленинградцев из предстоящего ада). Адрес – номер воинской части и почтового ящика – получила накануне во время прощания. С этой минуты я ежедневно писала по этому адресу, описывая наше путешествие – эти письма были как дневник. По прибытии на вокзал, матросы забросали наши вещи в окно поезда, а Исер в это время с боем заталкивал нас в дверь. Ушел он только, когда убедился, что мы все в вагоне и помог нам устроиться. Инночка все это время сидела у меня на руках, прижавшись ко мне; охватившие меня ручки ни на миг не отпускали мою шею: она боялась меня потерять (и я тоже). Мы обе были совершенно безучастны к окружающему. Это были минуты, когда мы принадлежали друг другу – счастье, которого мы были лишены с тех пор, как из Пушкина эвакуировался детдом. Побывать на своей квартире мне так и не удалось – она была в 20 минутах ходьбы от квартиры Полины. Не было ни сил, ни времени, но и потребности не ощутила – было не до этого. Остался там весь наш скромный, студенческий скарб, альбомы, фотографии. Запомнилась лишь огромная угловая полка до потолка из красного дерева, заполненная книгами, главным образом, по истории (почему-то помнится Струве), немного книг по медицине (о них я в эвакуации очень жалела – они мне оченьгодились бы). Из литературы помню Стефана Цвейга и Фейхтвангера – разрозненные тома или собрание сочинений – не помню. До Казани доехали без особых приключений. На

станциях Полина выходила на «промысел» за продуктами питания. Меняла она их на тряпки – она предусмотрительно забрала из дома все тряпье. Это было очень дальнорукое – нам их надолго хватило. Она неплохо шила и понемногу перекраивала на детские вещички, которые были там «на вес золота». Дедушка выходил за кипятком. Я оставалась безучастной. В Казани отправила почту для Арона. Там нас, в ожидании парома через Волгу, поселили в огромном сарае. Не помню, сколько времени мы там провели, помню лишь первую ночь. Там, в сарае, я как бы проснулась от спячки. Мы развязали тюки с подушками, на первой устроили еле живую, еле дышавшую бабушку, еще на двух – Инночку и Додика. Кое-как сами примостились, чем бог послал, подкрепились и устроились на ночь подремать. И тут раздался голос медицинской сестры Исера: они везде устроятся. Мы были как громом поражены: во-первых, им тоже никто не запрещал развязать тюки и устроиться, а во-вторых, сказала это медсестра Исера, которая с ним проработала вместе годы! Тут мы и поняли, как глубоки корни антисемитизма: стоило немцам полить их еврейской кровью, как они сразу дали ростки, а в дальнейшем расцвели бурным колючим цветом. В сарае написала очередное письмо Арону и отправила его перед посадкой на паром. Потом – паром. Подробное описание переезда – гимн волжским просторам – отправила из Чебоксар. Здесь дети воспрянули духом и как бы пробудились от кошмарного сна. В нас, взрослых, пробудилась надежда. В Чебоксарах нас ожидала ярмарка пустых подвод, на которых нам предстояло добраться до места жительства. Места эти нам были совершенно незнакомы. Чувашия для нас существовала как географическая точка и только. Мы выбирали качество повозки и достоинства возницы. Выбор пал на маленького добродушного старичка, который приветливо помог нам разместиться и повез нас за 30 км от Чебоксар в город (!) Цивильск – пыльный, грязный, с немощными дорогами и редкими, низенькими домами. Разместили нас в большой комнате, над головой – крыша без потолка, отопление – печурка. Днем как-то согревались, а ночью крыша промерзала и мы – соответственно. Кое-как продержались до весны, а к лету перебрались в двухкомнатную квартиру, в одной из комнат которой была огромная русская печь – на радость бабушке. Печь нас обогревала, а бабушка на ней готовила. Она, едва дыша, справлялась героически со своими нелегкими обязанностями: кормила семью и даже за детьми присматривала. Мы наладили связь с тетей Фаней, которая пока оставалась в Москве (потом они эвакуировались в Куйбышев, куда увезли правительственные учреждения). Она переслала нам письма Арона, полные тревоги за свою семейку. Мои ежедневные письма-дневник до него не дошли – ни одно! Он боялся, что мы еще не уехали из Ленинграда. Сразу по приезде я начала работать в поликлинике врачом (зауряд). Литрами поглощала бром, кажется, совсем не спала: на заре уходила на огород, где в первую же весну посадила одно ведро картофельных скорлупок – «глазков», затем – на работу в поликлинику, поглощенная единственной мыслью – что с Ароном? Где он? Дети росли, как грибочки. Они окунулись в свои детские радости. Семилетняя Сонечка была настоящая затейница, знала массу сказок и еще больше придумывала, и малышам с ней было очень хорошо. Они, под присмотром неутомимой бабушки, по-детски беспечно проводили дни за днями. Миля училась в школе и часто водила Додика к маме в инкубатор, где работающая там Полина угощала его супом с разбитыми туда яйцами (суп с соплиями). Домой она приносила пшеничную крупу и забракованные яйца. Была там воинская часть, а возле нас располагалась мансарда художника. Он заигрывал с Инночкой, называл ее Тушканчик за торчащие ушки, одаривал ее кусочками сахара и иногда бабушке приносил из пайка селедку. Однажды он принес мне мой портрет с надписью: «Портрет испанки» – в пестром широком платье, перехваченном поясом, и в шляпе с широкими полями. Он сказал, что заигрывает с Инночкой, а думает обо мне. Я не отреагировала, поглощенная мыслями об Ароне. Вскоре он исчез из нашего поля зрения, а я этого даже не заметила. Было мироощущение, была Инночка и горькие думы – меня не было... Инночка была яркой звездочкой, которая поддерживала мою жизнь. И эта жизнь была сосредоточена на ней, ночью я прижималась к ее тепленькому телу (спали мы вместе) и тихо плакала. В ясную погоду бабьего лета иду с работы. Навстречу двуколка, а в ней – мужчина и женщина, явно нездешние. Остановились. Мужчина меня о чем-то спросил, кажется, о дороге. На меня взглянул ясными, умными, бархатными глазами интересный мужчина лет 40, и я поняла безотчетно, что во мне пробудилась жизнь. Как бы темна ни была ночь, она неизбежно сменяется днем, иногда ясным, иногда туманным, а часто дождливым. Дома обхватила доченьку и расплакалась, девочка прижалась и залепетала: «мамочка, не плачь; мамочка, не надо». Но это были не горькие слезы, а, скорее, облегчающие. Через короткое время по телефону раздается его голос, и он предлагает мне работу в медпункте железнодорожных мастерских в вечернее время, без отрыва от основной работы. Оплата по тарифу. Попросту говоря, он предлагает совместительство на целую ставку – довольно соблазнительный вариант для студентки третьего курса – это и дополнительный доход, и общение с интересными людьми. Я охотно соглашаюсь. Это был прибывший по назначению главный инженер мастерских, судя по названию, серьезного военного объекта, бывший управляющий отделением Форда во Львове, которое перебазировалось в Советский Союз в связи с приходом немцев. В короткий срок этот человек узнал обо мне все,

что его интересовало (в маленьком городе это не сложно). Он убедил директора (начальника) в том, что медпункт крайне необходим, изыскал помещение, которое было оборудовано всем необходимым, и предложил явиться для ознакомления... Все это произошло в течение 2-3 недель. Я была просто ошарашена. Значит, и он меня заметил. Это был немногословный, умный, деловой человек, явно не советской выучки. Контингент рабочих – мальчики допризывного возраста, лет 14–17, которые под руководством серьезных, обученных людей делали очень серьезное дело – оборудование для ремонта и восстановления дорог на военных объектах. Мои пациенты быстро меня раскусили (доверчивая дура) и посыпались симулянты и симулянтки: одни за животы держались, другие температуру набивали. Я была в отчаянии. Мой попечитель – Вольф Израилевич Ниренберг, естественно, взял и меня, и мое «хозяйство» под личный контроль, чисто по-деловому, не проявляя личного интереса (это пришло очень постепенно, неназойливо, как бы, между прочим – как и следовало умному, интеллигентному человеку). Он выслушивал мои жалобы и сразу реагировал. Когда я ему рассказала о поведении моих «пациентов», он взял на себя их «проработку». Когда они поняли, что им придется иметь дело не со мной, а с главным инженером, то все встало на свои места. Дома я, естественно, была еще меньше и дочурку видела совсем мало – кормила ужином и укладывала. Но при этом я была за нее спокойна, так как полностью полагалась на бабушку и на семилетнюю Сонечку, которая, этого не понимая, была прекрасным воспитателем – в играх неистощимая на выдумки. Детский мир малышей был заполнен насыщенно и разумно. Однажды Инночка и Додик принесли бабушке немного щепок и спросили: «А теперь ты нам дашь кусочек хлеба?» Дети не голодали, но хлеба хронически не хватало. Была у нас еще одна забота: на новой квартире у нас был свой «приусадебный участок» – небольшой огород и сарайчик, в котором «проживали» поросенок и курочки. На огороде росло немного овощей, главным образом, лук, редиска, салат. Неофициальной хозяйкой этого участка была Полина при самом деятельном участии детворы: они поливали, гонялись за курами, таскали за уши поросенка, подражая его хрюканью – забот полон рот. Миля в этих заботах участия не принимала, она была «взрослая», училась в школе и имела своих «взрослых» подруг. Маша работала тоже на инкубаторе, имела своих друзей и в быт семьи особенно не вникала, однако не уклонялась от уборки и поддержания чистоты, что было тоже немаловажно. Неизменным моим царством оставалась картошка: участок был расположен за поликлиникой, и я по-прежнему выходила туда на заре, оттуда – в поликлинику, куда дедушка приносил мне завтрак, бережно собранный бабушкой. Завтрак был в горшочке, перевязанном чистой тряпичкой, с неизменной картошкой, которой хватало на весь сезон для семьи, поросенка, и даже курочкам перепадало (они питались отходами с нашего стола). Дедушка на правах начснба обходил источники питания – объекты моих контактов с пациентами: большой бидон пахты с молококомбината (изредка перепадало что-нибудь получше, но это было нечасто), субпродукты с мясокомбината: пупки, ножки, шейки. А от крупного скота – сердце, легкое и еще какие-то ошмотки, на маслобойном заводе – какую-то темную, густую жижу – так называемое, подсолнечное масло (это было царское блюдо – ведь все отходы от подсолнуха очень полезны). Все это дедушка, как гордый победитель, приносил в бабушкино царство. В ее руках все это превращалось в деликатесы и скромно подавалось к столу. Она ведь и в молодые годы не брезговала такими «продуктами» – на них она своих детей вырастила, и неплохо. Бабушка была настоящей еврейской мамой, вечный ей покой в раю, где она заслужила с честью свое почетное место. Она, как пчелка – труженица, орудовала ухватами и горшками в огромной русской печи и чуть ли не каждые полчаса ложилась, чтобы отдышаться. Тем временем у меня появился «поклонник» – начальник планового отдела мастерских, инженер, москвич, прибывший из Москвы в составе организаторов этих мастерских. Было впечатление, что у него серьезные намерения. Однако, в ходе считанных, совершенно невинных встреч, стало ясно, что он полностью игнорирует Инночку, видя в ней скорее помеху, чем будущую дочь. Это настораживало и отпугивало. Мне было важнее приобрести отца для Инночки, чем мужа для меня. К тому времени уже было ясно, что судьба Арона предрешена. В глубине души теплилась надежда; но разум говорил, что она иллюзорна: вести из большого мира говорили о том, что жестокость по отношению к пленным, особенно, к евреям, превосходит самые страшные предположения. После короткого знакомства мой незадачливый поклонник спросил, что бы я сделала, если бы вышла замуж, а потом вернулся бы муж. Я, не задумываясь, сказала, что вернулась бы к нему. Это была наша последняя встреча. Тем временем встречи с Вольфом принимали все более интимный характер. Именно в ходе этих ненавязчивых встреч (в медпункте, куда он заходил в конце моего рабочего дня) он проявлял много участия и внимания к нашей жизни, расспрашивал, рассказывал. В моем сердце зародилась мысль, что жизнь еще впереди и жить надо. Оно отогревалось и оттаивало с каждым днем. Наступил день, когда он зашел в медпункт и закрыл за собой дверь. К тому времени я уже знала, что самым большим его несчастьем является отсутствие детей. (Его жена Роза не хотела в свое время рожать, а хотела сначала пожить для себя – это формула всех эгоисток. Она сделала аборт, которому он всей душой противился, но не смел ее отговаривать, считая, что решать должна она –

это ее неотъемлемое право.) А еще он меня предупредил, что, как бы ни сложились наши отношения, он Розу не бросит, ибо она без него пропадет – словом, поступил как истинно интеллигентный человек с доброй душой. Обо мне он к тому времени уже все знал. Он изредка заходил к нам домой, сразу привязался к Инночке – с такой нежностью, кажется, на нее никто не смотрел. Казалось, что взять ее на колени и послушать ее лепет было для него высшим блаженством. И мне было хорошо. Чистота души мне дана от природы, а он это понял и взял на себя роль «ювелира». Зерно падало на хорошую почву. Его влияние на меня было очень благотворно. Инночка уже всю лепетала, смешно коверкая слова и широко раскрывая свои очаровательные глазки, развесив ушки, как тушканчик. «Фолодно, не фоцу фалафантик» (Холодно, не хочу сарафанчик). В то же время появилось выражение пугающее, страшное: «голека боль-боль» (головка болит). Дедушка почти постоянно ходил с повязкой на голове – его всю жизнь мучила мигрень. Но ведь она совсем не была на него похожа! На ее лице четко выступали черты Арона и его матери. Глядя на нее, я постоянно думала, удастся ли мне дать ей хорошее воспитание и должное образование – это была наша с Ароном мечта – сделать из нее образованного человека и особенно учить ее музыке... Мы хотели дать ей то, что нам давалось с таким трудом и что зачастую мы знали поверхностно. Это случилось не по нашей вине – наши души были открыты для восприятия, но действительность постоянно ставила рогатки на нашем пути. Я понимала, что уже теряю драгоценное время, но действительность кованым сапогом топтала все мои желания! Между тем в войне намечался перелом. Она уже шла на подступах к Сталинграду. Левитан больше не повторяет в своих сводках, что «наши войска после тяжелых боев сдали город такой-то», а говорит: «...взяли населенный пункт» (не город – до этого было еще далеко). Все мучительно и тщетно ждали открытия второго фронта, со страхом следили за ходом войны на Сталинградском фронте – падение Сталинграда открыло бы немцам выход к Волге. В Цивильске была паника: многие из эвакуированных уезжали. Мы уповали на бога и на «непобедимую» Красную Армию. И верили, наверное, потому, что другого выхода у нас не было. Зимой 1942–43-го в некоторых деревнях вокруг Цивильска появились очаги сыпного тифа – страшной болезни, спутника войн, горя, нищеты, грязи и вшивости. Спешно райздравотдел комплектует отряды из 5 человек (один врач, две медсестры и два дезинфектора). Я возглавляю один из отрядов и выезжаю на «очаг» за 26 км от Цивильска. Едем без защитных средств, без соответствующей подготовки и без знаний (инфекционные болезни изучаются на 5-м курсе, а я кончила только 3) – как принято было в то время, вперед, к победе... над вшами. А у вшей, между прочим, есть манера – покидать больного (им, видите ли, слишком жарко на теле больного) и «перескакивать» на здоровых людей, оказавшихся поблизости. По инструкции приближаться к больному надо, смазавшись отпугивающим вшей средством. Познакомить нас с этой инструкцией никому не пришло в голову... Однажды, у постели больной бабы, лежащей и охающей под кучей тулупов, в грязной, темной избе, я почувствовала укус. Прямо из избы, предварительно осмотрев больную и сделав соответствующую запись, помчалась в сельсовет и занялась розысками злополучной вши, нашла, убила, но было уже поздно: ведь она уже укусила и уже заразила, о чем я и не догадывалась. Инкубационный период – 10-21 дней, то есть болезнь наступит где-то через две недели. Я, торжествуя победу над злоумышленницей, даже не подозревала, что она уже сделала свое подлое дело. Мы уже «складывали манатки» – заканчивали работу на «очаге», когда из города примчался курьер – фельдшер и сообщил, что «к нам едет ревизор» – министр здравоохранения Чувашской АССР, он хочет познакомиться на месте, как цивильские медики справляются с работой на «очаге». Приказано свыше подготовить соответствующий прием и угощение. В сельсовете это сообщение было принято так: издан приказ – обеспечить достойный прием и не ударить лицом в грязь. Министр явился в сопровождении завгорздравотделом назавтра к вечеру. На столе стояло «угощение» – ассортимент молочных продуктов, мед, сало и прочая нехитрая снедь, украшенная зеленью и букетиком полевых цветов. Трапеза была принята благосклонно, при свете керосиновой лампы и за деловыми разговорами (вопросы ко мне и мои ответы). Уже в сумерки собрались в обратный путь. Возле пролетки хлопочет завгорздравотделом. Министр подошел к пролетке и заявил: «со мной поедет Мария Александровна, а ты поезжай с бригадой». Он усадил меня, бережно накрыл ноги тулупом и всю дорогу расспрашивал о моей жизни, спросил, когда я успела стать заурядврачом, и не поверил, что мне 26 лет (не больше 18). Дома, не заходя в квартиру, в коридоре сняла с себя всю одежду, замочила в хлорку, помылась, одела все чистое и только тогда кинулась к дочурке. Через две недели я уже была в больнице, в бреду. Дома никто не заболел. Горжусь за нашу семейку: живя в такой скученности, в тесной старой хибарке, мы смогли поддерживать чистоту, а главное, у нас не было вшей. Финал: я оглохла, а завгорздравотделом получил нагоняй от министра – отправил на «очаг» почти ребенка, не позаботившись о безопасности. Я же, наголо остриженная, очень слабая, сразу начала думать об отъезде в Ленинград. Едва встав на ноги, я отправилась за разрешением на отъезд. Министр, увидев меня, «распорядился»: «снимите платок» – так-то лучше. И сказал: «Зачем вам сейчас ехать в голодный Ленинград? Мы вам обеспечим 2

ставки, поживите спокойно пару лет, Ленинград от вас никуда не денется». Я возразила, что нет гарантии сохранить право на звание врача, не имея диплома. Нужно ехать кончать институт. Он пожелал счастья, посоветовал без надобности не надевать платок и тут же подписал разрешение. Насчет платка то же самое сказал Вольф (у вас вид симпатичного подростка). Мы всегда оставались с ним на Вы – странно, но факт. Мой отъезд он воспринял, как удар ниже пояса. В Ленинграде мы заехали на квартиру Мули (на улице Герцена), где до их приезда из эвакуации была штаб-квартира всех бездомных родственников, там были Маргарита с Розой, мы с Машей – постоянно толпились люди. Для Инночки Маргарита предстала в виде куклы – впервые ее жизнь столкнула с крошкой. Я сразу забежала по своим делам, девочку оставляла с кем попало: то с Розой, то с Машей. По приезде в Ленинград остро почувствовала нахлынувшую с новой силой тоску по Арону. Помчалась в университет пешком – транспорт шел нерегулярно, и я прошла через Тучков мост – это недалеко. Я опять на нервах, душат воспоминания, снова ручьи слез, беззвучных, мучительных. В университете узнаю про товарища Арона, с которым он был в ополчении. К счастью, нахожу его на кафедре Новой истории, где он собирается поступать в аспирантуру. В душе буря – ведь Арон мечтал, и с полным основанием, поступить туда. Узнала, что очень скоро немцы их разогнали, как зайцев. Они не только воевать, но даже защищаться не могли – это была судьба всех ополченцев. Спаслись очень немногие, из тех, кто побежал на восток. А Арон побежал в сторону Ленинграда – искать свою семейку и... канул в вечность. Сразу из университета добираюсь в институт. В секретариате уже ведется учет зауряд-врачей, желающих продолжить учебу. Встаю на учет и узнаю, что меня вызовут повесткой. Ушла домой через улицу Скороходова – там, в деревянных флигелях, когда-то наша «команда» в составе Рувы, Полины, Яши, Маши и меня жила в 14-метровой комнате. Это было в начале 30-х годов. В последующие годы, вплоть до начала войны, там проживал Рува с семьей. Нашла пустую площадь – дома, как возможный очаг пожара, снесены. Остаток дня – с дочуркой, в штаб-квартире. На следующий день отправляюсь в библиотечный коллектор – надо думать о работе до начала учебы, нужен заработок, чтобы жить... (В коллекторе я работала до начала учебы на рабфаке). Встречена благосклонно, мне предлагают заняться составлением каталога книг, свезенных из различных разрушенных во время бомбежек книгохранилищ. Привели меня в огромный «зал», заваленный грудой книг, в здании между Летним Садам и Набережной. Я – в единственном числе. В этом «царстве книг» я нашла не только заработок (очень скудный), но и душевный покой – одиночество в царстве книг повлияло на меня благотворно. В один из ближайших дней съездила в Пушкин посмотреть, что стало с нашей довоенной квартирой. Едва узнала эти места – кругом одни разрушения. Вместо дома – куча золы и мусора. Даже парк неузнаваем. Кажется, почти и не расстроилась. Посидела, погрустила и пошла в горжилотдел, где меня взяли на учет для обеспечения жильем. Пока только на учет – на годы (повестку на получение жилья получила, когда была уже замужем и жила в Лиенае). К осени вернулась из эвакуации Полина с детьми. Незабываемой была встреча Инночки с Додиком: он схватил ее на руки и кружил с ней по комнате. А она визжала от восторга. Потом возвратились Аня с Мулей, и мы опять очутились у Полины, где-то на Петроградской стороне (кажется, Кирпичный переулок), в квартире, которую занял Исер, когда работал в госпитале во время блокады. Эпизод: приехал Исер – первая встреча со дня эвакуации; естественно, схватил в охапку своих детей, сидит, прижавшись к ним. А Инночка бежит вокруг, зареванная: она тоже хочет прижаться к этому человеку, но ей не находится места. Хватаю ее на руки, она рвется к ним, и я силой заталкиваю ее в эту счастливую троицу и, конечно, реву. Исер с семьей уезжают в Германию, мы остаемся пока в их квартире. Инночка опять на попечении бабушки. Я работаю и одновременно отдыхаю душой в царстве книг. Мысли, мысли, мысли: как устроиться с жильем, как жить на скудный заработок, которого хватает лишь на полуголодное существование. Удастся ли кончить институт? Удастся ли достойно воспитать доченьку? Что с Ароном, вернется ли, жив ли? Арон...Арон...Арон. После контузии возвращается с фронта Рува, с распухшими от голода ногами, изможденный. Ведь он служил в Ленинграде, а там во время блокады не хватало питания даже для армии. Явился наш спаситель, опекун, отец! Он облюбывал огромный вестибюль в большой коммунальной квартире на Большом проспекте, возле площади Льва Толстого, отгородил узкий коридор. Получилась светлая, с двумя окнами, комната метров 20. Сюда он забрал свою семью. В этой же квартире «захватил» восьмиметровую комнатку, граничащую с кухней и уборной, и вселил в нее меня, Машу и Инночку. Еле втиснули в нее двухстворчатый шкаф, диван и крохотный столик. На ночь впритык к дивану втискивали раскладушку. В углу, у дверей, — круглая печь. Не помню, топили ли ее, но всегда было холодно, и мы включали электроплитку. Однажды проснулись от запаха гари: тлело одеяло, которым накрывались. Утром возле нашей двери выстраивалась очередь в уборную, из кухни с утра были слышны споры между женщинами и запахи пищи. Словом, жизнь хороша и жить хорошо. Наконец получаю вожделенную повестку из института: меня зачислили в группу зауряд-врачей на второй семестр третьего курса – единственная группа на весь Ленинград. Я студентка, я на крыльях! Доченьку устроила в круглосуточный детский сад – ведь бросить работу нельзя – на одну

стипендию не проживешь. Бабушка с дедушкой уехали к Фане – не то в Москву, не то в Куйбышев. И вдруг – письмо от Вольфа. Он перевелся в филиал, расположенный в Пушкине (центр этого военизированного учреждения – в Москве, а филиалы расположены во всех крупных городах или пригородах, как и большинство военных объектов). Он просит назначить встречу. Чтобы закрыть эту тему: к окончанию мною института его перевели в Московский филиал. Он просил меня пренебречь распределением и поехать к нему. Обещал мне работу в медпункте и обеспеченное существование: «Я возьму под постоянную опеку Вас и ребенка, поверьте, Вам будет хорошо». Мой выбор однозначен: нельзя жить при ком-то – Розу он не оставит, а у меня растет дочь – как она на это посмотрит, когда подрастет? Нужен разрыв. Нужно ехать по назначению и строить самостоятельную жизнь. Еще находясь в Ленинграде, получила письмо от Розы (как снег на голову). Значит, она все знает! Она написала, что Вольф очень болен: у него резкое истощение нервной системы, низкое давление, еле прощупывается пульс, безучастен ко всем и всему, почти все время лежит, только Вы можете его спасти. Я написала в ответ большое письмо (возьмите себя в руки, Вам не к лицу малодушие и так далее) и... уехала в Лиепая. Мы уже живем на мансарде, Инночку до осени устроила в детский сад – она уже школьница, но мне не с кем ее оставлять. Гесья заходит часто, принимает деятельное участие в устройстве нашего быта. К Инночке очень привязан, и она тоже. И вдруг на работе раздается звонок – звонит Вольф. Он в Лиепая, просит о встрече. После работы встретились, пообедали в ресторане. (Домой я его не пригласила, не хотела, чтобы он встретился с Инночкой – девочке 8 лет, кто может знать, какие мысли могут зародиться в голове ребенка). Пошли с ним на море. Утром он уже побывал на заводе «Металлург», представился; ему там обещали золотые горы; кто же откажется от специалиста высокого класса, бывшего управляющего на предприятии Форда (марка!) Словом, он опять на моем горизонте. Разговор был длинный, очень миролюбивый, но категорическое «нет» было моим последним словом, и мы расстались. Больше о нем ничего не слышала. Весной 47-го года кончила институт (уже не отличницей – дома работать не было времени, и я дома не занималась, а в мединституте надо дома работать больше, чем на лекциях – у меня просто не было этой возможности). Летом 46-го года поехала с Машей в Константиновку (украинская глубинка) на «промысел». Наменяли тряпки, обзавелись солидной суммой. Инночка оставалась в Подмоскowie, у тети Фани. Как она туда попала, не помню. Когда уже думали о сборах домой, хозяин квартиры, где мы остановились, попросил одолжить деньги на пару дней, и мы – две доверчивые великовозрастные дуры – отдали ему наши деньги и больше их не видели. Уехали – с чем приехали. Маша уехала прямо в Ленинград, а мне надо было заехать за Инночкой в Москву через Харьков. До Харькова ехала на площадке вагона, стиснутая со всех сторон пассажирами – влезть в вагон возможности не было. В руках маленький чемоданчик, и в нем буханка хлеба. По приезде в Харьков хлеба не оказалось. Денег на дорогу – в обрез. Билет на Москву получить невозможно. Приехали в Харьков утром, а поздно вечером, измученная, без билета, сижу на вокзале и, конечно, беззвучно плачу. Чудом в вокзальной суматохе возле меня очутился интеллигентного вида солидный мужчина. Он спросил меня с участливым видом и ласковым взглядом: «девочка, почему Вы плачете?» Стало немного светлее на душе. Поделилась своим горем. Он берет у меня деньги на билет и исчезает. Я в надежде и тревоге: ведь денег у меня больше нет! Проходит вечность (один - два часа, а, может быть, и меньше), и он появляется передо мной с билетом, сует мне билет и какую-то еду – я тут же, конечно, на нее набросилась. Он не отходит, видимо, настроен продолжить опеку. Он тоже едет в Москву, поезд должен скоро отправиться. Отправляюсь с ним на перрон. Давка невероятная. Он кое-как втиснул меня в вагон в купе проводника – о чудо! Он о чем-то поговорил с проводником, и та услужливо нас устраивает в своем купе, и мы отправляемся в путь в ее обществе. Он расспросил обо мне, рассказал кратко о себе: он посол в Турции, возвращается домой в Москву. Поговорили, подремали, рано утром он выскочил на какой-то станции, принес снедь. Проводник услужливо подала чай. Позавтракали, опять подремали, опять поговорили и, наконец, прибыли в Москву. На перроне попрощались, и он исчез со своим чемоданчиком-дипломатом, а я, согретая участием совершенно незнакомого человека, с вокзала на вокзал уже в середине дня добралась до моей доченьки, и сразу все горести и неудачи забыты. Мое второе замужество Знакомство с Гесей состоялось в день приезда в Лиепая, куда прибыла по окончании института по назначению вместе с восьмилетней Инночкой и ее куклой, чуть поменьше ее ростом. Оставив вещи в камере хранения, взяла моих «спутников» и ручную сумку и пошла в «никуда» – к центру города, навстречу жестокой судьбе. И тут я встретила маленькую старую женщину, которая, увидев нас, остановилась, всплеснула руками с восторгом по поводу моих спутниц и тут же приступила к расспросам. Я с удовольствием рассказала кратко, кто мы и сказала, что мы не знаем, где нам остановиться. (Гостиница нам, естественно, была не по карману.) Она сразу указала адрес «мадам» Гринфельд и рассказала, что она из Москвы, приехала «отвоевать» у государства свой дом и остановилась в доме мадам Гринфельд и что сегодня в окно влетела голубка и это именно мы, и это – судьба. Тут же она многословно рассказала, что с мадам Гринфельд проживает ее племянник, который отвоевал ее дом и даже

выгодно его продал; что он «министр» и что он холостой и обязательно на мне женится. Было это в середине июля 1947 года. Встретила нас высокая статная дама со строгим (чересчур строгим) лицом, устроила нам допрос с пристрастием и разрешила остаться у нее до воскресенья (была пятница). Мы немного отдохнули, закусили (кажется, она накормила нас обедом). Потом мы пошли на море и, вернувшись, увидели «министра» – нашу судьбу (эпитетов не хватает). Поужинали по-субботному, я уложила Инночку спать, и он пригласил меня познакомиться с морем. Сдержанный, воспитанный, с приятными манерами, как мне показалось, интеллигентный, приятный мужчина в спортивного вида светлом костюме. Я была к людям очень доверчива и, несмотря на удары судьбы, поверила. Вышли на море в сумерки, поговорили, он властно охватил меня за талию и притянул для поцелуя. Я увернулась и сказала, что это же только первая встреча! Как выяснилось, он принял мою реакцию как призыв к дальнейшему знакомству. Главный врач принял меня натянуто (думаю, что испугался, не замена ли это). Он был высокий, с ястребиным пронзительным взглядом, лет 45. Мне он предоставил комнату, где я смогу прожить до получения квартиры. (Как молодой специалист, я могла рассчитывать, что устроюсь прилично.) Мы перебрались. Утром он вошел к нам без стука и начал расспрашивать, как я провела ночь. Я возмутилась такой бесцеремонности, и он на ломаном русском стал мне доказывать, что я занимаю служебное помещение, где он может себя вести, как находит нужным и так далее. И я поняла, что мне нужно как можно быстрее убраться. Вечером пришел Геся (влез в окно, так как калитка на ночь закрывалась). Он понял ситуацию, воспользовался ею и деятельно стал искать квартиру. Быстро найти хорошую не удавалось. И ему предложили мансарду. В тот же день он, с моего согласия, привел туда человека, который привел все в божеский вид, и мы убралась восвояси. (Оставаться нельзя было, так как главврач вел себя на работе корректно, а после работы – нахально и настойчиво требовал близости). В такой ситуации я за Гесю цеплялась как за избавителя. Препграда явилась в лице его тети: она никак не соглашалась на этот брак (вдова с ребенком, да еще «русские»). В течение трех лет она его знакомила с девушками, он начинал ухаживать и, как я потом поняла, полностью меня игнорировал. Когда же он разочаровывался в очередной «невесте», то с невинным видом приходил ко мне, всегда с чем-нибудь для Инны (конфеты, шоколад). Они очень друг к другу привязались, и, когда он долго не приходил, она приставала ко мне с вопросами, так что мы обе его ждали с нетерпением. Одно лето Инна болела коклюшем, и он исправно по вечерам возил ее на велосипеде, которым владел виртуозно, на берег моря дышать морским воздухом (по рекомендации врача). Когда отказ был дан шестой невесте (среди них были: два врача, одна химик, портниха, восемнадцатилетняя рижанка и так далее) – он заявил тете, что либо он женится на мне, либо совсем не женится. И она была вынуждена согласиться. На мансарде мы прожили более трех лет – до замужества. За это время дважды приезжала Маша: первый раз – в отпуск, второй раз – провести медовый месяц с Генрихом. Около полугода жил у нас Додик, учился в школе вместе с Инной. В это время Полина с Исером были в Германии, где тогда служил Исер. До демобилизации ему оставалось примерно полгода. Для Инночки это был счастливейший период ее жизни в Лиепае. Примерно в этот же период полгода провели в Ленинграде – меня с работы направили в Ленинградский институт усовершенствования врачей. Инночка в этот период ходила в школу вместе с детьми Левы. В Ленинград нас тепло и участливо провожал Геся. В августе 47-го был объявлен прием в музыкальную школу. Мы поспешили туда, но я быстро сориентировалась и поняла, что это не то: слишком большое внимание предметам теории музыки и слабая подготовка по общеобразовательным предметам. Цель школы – подготовка специалистов в области музыки в ущерб общему образованию. Нужна частная учительница. Узнаю, что в Лиепае проживает бывшая преподавательница Московской консерватории – школы Гнесиных, пенсионерка. У нее Инночка проучилась вплоть до десятого класса. Трудно переоценить ее влияние на Инночкино образование. Она не только учила ее игре на пианино, но и привила ей любовь к классике и сумела сделать ее музыкально образованным человеком. Это то, к чему стремились мы с Ароном. Эта учительница искренно привязалась к Инночке и в дальнейшем, до самой смерти, интересовалась ее судьбой. Осику было около двух лет, когда я сказала Инночке, что решила уйти от папы, и тогда она заплакала и стала просто умолять: «мамочка, папа хороший, не надо уходить». Я поняла, что лишать ее второй раз отца не имею права: это для ее детской души будет неизлечимой травмой. С этих пор я решила стусеваться и страдать. Как приложение, приняла его «танту» и откровенные насмешки ее (и его тоже) местечковой жидовни. И я ушла полностью в детей, в себя и в работу (в которой, кстати, тоже было очень много ухабов, чересчур много – и все они – на почве антисемитизма). Школьные годы Инночки протекли очень быстро, незаметно – ей никогда не надо было «помогать» делать уроки. В дневнике были постоянно отличные отметки и безупречное поведение (мое замечание: тут я вынуждена высказаться – насчет учебы – все правильно, а вот с поведением было не все так гладко – очень уж я любила болтать на уроках. — Инна Гатовская). На родительских собраниях я всегда слышала только дифирамбы – она постоянно ставилась в пример. Начиная с шестого класса, обоудная привязанность к классной руководительнице – учительнице физики. Под ее влиянием она

и увлеклась физикой. (Опять неточность – на физику меня направила как раз мама, хотя мне этот предмет, действительно, нравился, как и многие другие: литература, английский и пр. — Инна Гатовская.) Где-то в седьмом классе в ее жизнь вошла учительница литературы Ксения Гольдберг – кандидат наук, безумно влюбленная в литературу. Она сама обожала классику и сумела привить Инночке любовь к классике. Ее влияние на Инночкино образование колоссально. Наш дом, особенно, в период экзаменов, превращался в консультационный центр по всем предметам и для всего класса. Круглый стол в гостиной облепляли юношеские, почти еще детские, головки. Инночка ходила вокруг стола, давая разъяснения всем одновременно, и по самым различным предметам. Она была моим утешением (луч света в темном царстве), гордостью и тихой радостью. Копия уверенно шла по стопам оригинала, не только по внешности. По окончании школы – совершенно неожиданный инцидент: девочка окончила школу круглой отличницей, в комитете комсомола ее поздравляют с присуждением единственной во всей школе золотой медалью, а со стороны министерства образования – полное безмолвие. Уже во всех школах медалистам вручили медали, и только Инночке (из Риги) медаль не прислали. Мы с ней отправляемся в Ригу к министру. Я полна решимости вырвать у них эту медаль. Ясно, что помеха – пятый пункт. До приема у министра – прогулка на пароходике по Даугаве ранним утром (поезд прибыл в Ригу в 6 часов утра). Это было в начале августа. Я, как могу, развлекаю Инночку, но и сама получаю огромное удовольствие. В министерстве нас к министру даже не допустили. Как? Вам же присуждена серебряная медаль! Почему серебряная? Сочинение – обычная зацепка для всех представителей пятого параграфа. В Лиепае сочинение прошло безукоризненно (Мое замечание: за сочинение ставилось две оценки – по русскому и по литературе, а так как ошибок не было, то снижена была оценка по литературе, где ничего доказать невозможно. — Инна Гатовская). Делать, однако, нечего – пора уже ехать в Ленинград, подавать документы в ВУЗ. Нам вручают серебряную медаль. Дальше отдых у Буховых, вечером – оперный театр. Оттуда – к полуночи – на поезд в Лиепаю. Поступать решено в Ленинградский университет. Четырехлетний Педагогический институт в Лиепае полностью отвергается (скудные знания с последующим прозябанием в лиепайском провинциальном болоте). Только в Ленинграде с его театрами, музеями, Эрмитажем, филармонией, в Ленинграде, где даже мостовые могут создать должную оправу моему бриллианту. Решать должна я – Инночка послушна моему решению. А оно однозначно, хотя и очень болезненно. В Университете наши документы даже в руки не взяли – нос не подходит. Знакомимся с Галей Юдовиной. У нее – те же проблемы. Сходу, уже вместе с Галей – подругой на всю жизнь – едем в Пединститут, где девочек и зачисляют. И уже на всю жизнь – встречи с Инной – или в каникулы, или во время моих коротких поездок в Ленинград. А в остальное время – только письма! В Ленинграде Инночка получила достаточно всестороннее образование, а ее подруги, оставшиеся в Лиепае, так и остались провинциальными обывателями. О том, что отправила доченьку в Ленинград, оторвав ее от себя, как говорят, «с мясом», я никогда ни минуты не сожалела, хотя не хватало мне ее близости постоянно. Настала пора задуматься о дальнейшей судьбе, о замужестве. В одном из первых разговоров на эту тему она сказала: «Мамочка, он будет еврей и умный». После «ссылки» в Новую Ладугу, из которой вызволил Макс Качурин – сын сестры бабушки Блюмы, который был тогда видным работником министерства просвещения, Инночка начала работать в Институте водного транспорта. Она описывала свою новую работу в лаборатории и много писала о своем начальнике. Письма были до того восторженные, что меня охватила тревога – нельзя допускать в отношениях с начальством интимные нотки, они чреваты непредсказуемыми неприятностями в его семье, а это всегда кончается неприятностями на работе. Последовал короткий ответ: «Мамочка, он холостой». И я усиленно стала готовиться к свадьбе. Когда мы поехали на свадьбу, то повезли большой чемодан с постельными принадлежностями и личным бельем. Свадьбу в кафе «Дружба», расположенном в том же доме, что и кино «Баррикада», помню до мельчайших подробностей. Потом родились внуки: Стеллочка (образцово-показательная) и Танечка. Родители сумели дать им идеальное воспитание. На выпускном вечере в школе директор сказал, что девочки Гатовские воспитаны, как в XIX веке. Лучшей оценки быть не могло. Моими самыми красочными воспоминаниями этого периода были: 1. Поездка с ними на Черное море, в Анапу. Ранним утром мы выходили на море, как правило, на пустынный пляж. В 11 часов, в самую жару, уходили домой. Там же мы совершили поездку на теплоходе в дельфинарий. 2. Перконе: походы к молочнице, когда они шли впереди, болтая между собой, обсуждая, конечно, самые «важные» проблемы; походы в лес, на море. Стеллочкины: «бабушка, пойди полежи» и так далее. Теперь моя дочь – обладательница трех внуков – один другого лучше и все – разные. А мы с дедом уже обладаем тремя правнуками, посещение которых теперь является единственной радостью моего горе-существования.